

Максим Гуреев

Биография: опыт прочтения

Жить между
двумя островами

Иосиф Бродский

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ



Эпоха великих людей

Максим Гуреев

**Иосиф Бродский. Жить
между двумя островами**

«Издательство АСТ»

2017

УДК 821.161.1.09 Бродский И.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Бродский И.

Гуреев М. А.

Иосиф Бродский. Жить между двумя островами / М. А. Гуреев —
«Издательство АСТ», 2017 — (Эпоха великих людей)

ISBN 978-5-17-097641-6

Новая биография русского поэта и Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Биографический жанр – особый. Факты, события, сменяющие друг друга, попытка реконструировать жизнь поэта сама по себе абсурдна, на первый взгляд, однако писатель Максим Гуреев, с присущей ему деликатностью, сумел из Мифа сотворить Легенду... Максим Гуреев закончил филфак МГУ и семинар прозы Андрея Битова в Литинституте. Публикуется в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь». Режиссер документального кино, автор более 60-ти картин. Член русского ПЕН-центра.

УДК 821.161.1.09 Бродский И.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Бродский И.

ISBN 978-5-17-097641-6

© Гуреев М. А., 2017
© Издательство АСТ, 2017

Содержание

Коммос	6
Эписодий Первый	9
Эписодий Второй	18
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Максим Александрович Гуреев
Иосиф Бродский. Жить
между двумя островами

*Я хочу, чтобы вы отметили различие
между устрашающим и трагическим.*
Иосиф Бродский

© М.А. Гуреев, 2017

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Коммос

В древнегреческой трагедии скорбный плач, который играет роль кульминации и одновременно финального обобщения.

– Мы очень сожалеем о случившемся, но просим вас сконцентрироваться и подробно рассказать о том, что произошло в ночь с 27 на 28 января 1996 года.

– Мне очень трудно сейчас говорить об этом.

– Мы приносим вам свои искренние соболезнования, но нам необходимо соблюсти процедуру и по возможности восстановить ход всех событий этой печальной ночи.

– Хорошо, я постараюсь, но мне очень тяжело, я могу ошибаться.

– Ничего страшного, мы слушаем вас.

– В субботу вечером он собирал рукописи и книги, он готовился к началу семестра.

– Почему господин Бродский этим занимался именно в субботу вечером, ведь занятия начинались только в понедельник, и впереди было еще воскресенье?

– Ну что вы! Он был очень щепетилен в этих вопросах и всегда готовился к занятиям заблаговременно.

– Понятно. Пожалуйста продолжайте.

– Потом, когда все было собрано, он сказал, что ему нужно еще поработать. Он пожелал мне спокойной ночи и поднялся к себе в кабинет.

– В поведении господина Бродского было что-то необычное, как вам показалось?

– Нет, пожалуй, все было как всегда. Хотя, конечно, он выглядел усталым, очень усталым...

– Почему?

– В последнее время он плохо себя чувствовал. Он мне не говорил, конечно, но я видела это.

– Вы говорите о его душевном состоянии или физическом?

– Я говорю о его больном сердце...

– Что было потом?

– А потом я обнаружила его только утром, мне невыносимо тяжело об этом вспоминать...

– Вы слышали ночью какой-то шум?

– Нет.

– Нет – вы его не слышали, или этого шума не было?

– Я не слышала, я спала.

– Мы понимаем, что вам трудно, но просим вас подробно рассказать о том, что вы увидели, когда утром вошли в кабинет господина Бродского. Это очень важно.

– Иосиф лежал на полу. Он был полностью одет.

– Значит, он не ложился спать, не собирался ложиться?

– Получается, что так.

– Скажите, как он лежал: лицом вниз или вверх?

– Не могу точно сказать, кажется, лицом вверх, а его очки лежали на столе рядом с книгой.

– Что это была за книга?

– Греческие эпиграммы.

– Прибывший на место происшествия утром 28 января наряд полиции показал, что тело господина Бродского лежало лицом вниз, а его очки разбились. Как бы вы это могли объяснить?

– Не знаю...

– Вы переворачивали тело до приезда полиции?

– Нет... я не помню... это ужасно...

– Мы сочувствуем вам, но еще один очень важный вопрос – ночью 27 января господин Бродский совершал телефонные звонки кому-либо?

– Нет, не совершал.

– А мы располагаем информацией, что господин Бродский звонил господину Барышникову. Что вы знаете об этой звонке?

– Ничего не знаю! Оставьте меня в покое! Я сказала вам все, что смогла вспомнить! Мне очень тяжело сейчас, вы это можете понять?

– Конечно, мэм, конечно, можем. Но мы всего лишь делаем свою работу.

1 февраля 1996 года в Епископальной приходской церкви Благодати в Бруклине прошло отпевание Иосифа Бродского. На следующий день гроб с телом покойного был временно помещен в склепе, расположенном на кладбище при храме Святой Троицы, что на берегу Гудзона, где он находился до июня 1997 года.

21 июня 1997 года тело поэта было перезахоронено на протестантской части кладбища Сан-Микеле, расположенного на острове имени Святого Михаила Архангела в Венецианской лагуне.

На деревянном кресте было написано – Joseph Brodsky.

Впоследствии крест был заменен каменным памятником в античном стиле, изображение креста на котором предусмотрено не было.

Joseph Brodsky.

Stockholm.

1987.

Nobel lecture:

«Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и в частности от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, “урби эт орби” с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит себе в вас выхода.

Единственное, что может примирить вас с подобным положением, это то простое изображение, что – по причинам прежде всего стилистическим – писатель не может говорить за писателя, особенно – поэт за поэта; что, окажись на этой трибуне Осип Манделштам, Марина Цветаева, Роберт Фрост, Анна Ахматова, Уинстон Оден, они невольно бы говорили за самих себя, и, возможно, тоже испытывали бы некоторую неловкость. Эти тени смущают меня постоянно, смущают они меня и сегодня. Во всяком случае они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них, в отдельности. Ибо быть лучше их на бумаге невозможно; невозможно быть лучше их и в жизни, и это именно их жизни, сколь бы трагичны и горьки они не были, заставляют меня часто – видимо, чаще, чем следовало бы – сожалеть о движении времени. Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят мне и качество того, что я собираюсь изложить: в конце концов, не поведением на трибуне достоинство нашей профессии мерится...».

Лекция длится 29 мин 57 секунд.

Затем под аплодисменты Joseph Brodsky сходит с трибуны.

Хор тоже покидает оркестру вслед за сыном Эсона и Полимеды, предводителем аргонавтов Ясном:

*Никто никогда не знает, что боги готовят смертным.
Они способны на все: и одарить несметным,
и отобрать последнее, точно за неуплату.
оставив нам только разум, чтоб ощущать утрату.
Многоязыки боги, но с ними не договориться,
Не подступиться к ним, и от них не скрыться:
боги не различают между дурными снами
и нестерпимой явью.
И связываются с нами.*

По крайней мере так это описано в Прологе и Хорах из трагедии Еврипида «Медея», переводом которых Иосиф Александрович Бродский занимался незадолго до своей смерти.

Эписодий Первый

В древнегреческой драме эписодий представляет собой речевую сцену, расположенную между партиями хора, равнозначен явлению в новой драме.

1984 год. Литейный проспект. Дом № 24. Квартира № 28.

Посреди комнаты на стуле сидит пожилой человек и смотрит программу «Время».

Диктор Вера Шебеко зачитывает медицинское заключение о болезни и причине смерти Председателя Президиума Верховного Совета СССР Юрия Владимировича Андропова, скончавшегося в возрасте 69-ти лет 9 февраля 1984 года в 16 часов 50 минут.

Пожилой человек думает о том, что он старше Андропова на 11 лет, и вот его – Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя КГБ СССР уже нет, а он еще жив.

Потом начинается показ траурных митингов, на которых трудящиеся страны произносят торжественные слова, опускают глаза долу, замирают в скорбном молчании под гудки заводских сирен.

Пожилой человек подходит к телевизору и выключает его. В комнате, разгороженной декоративной стеной, наступает тишина.

Вернее сказать, в полутора комнатах, что получились в результате этой замысловатой выгородки, наступает давящая тишина, которую усиливают мавританского стиля буфеты из черного лакированного дуба. Они уходят куда-то под потолок, словно пытаются прорасти к соседям сверху (те не знают об этом). Они напоминают небоскребы в Нью-Йорке, которые пожилой человек, разумеется, никогда не видел, но их ему показывали в передаче «Международная панорама».

В недрах этих циклопических размеров сооружений из черного лакированного дуба хранится вся прежняя жизнь и даже та жизнь, которая была до нее, до прежней.

Доисторическая жизнь, то есть.

Список предметов (они же музейные экспонаты) может выглядеть следующим образом и, что понятно, всегда будет требовать своих дополнений:

- старые фотоаппараты – ФЭД-НКВД, «Москва-4», «Зенит-С», «Салют»
- кюветы и бачки для проявки и печати снимков
- фотоувеличители «Ленинград» и «Нева»
- старые журналы «Огонек»
- посуда, фарфор
- белье, скатерти
- серебряные бритвы «Золинген»
- красные фотофонари
- обувные коробки с ботинками, в которые вставлены деревянные колодки
- инструменты
- старые морские кители
- бинокли, объективы
- шляпы, фуражки
- кинопроектор «Veimar 3» для пленки 8 мм
- круглая коробка с целлулоидными и хлопчатобумажными подворотничками
- разноцветные кимоно
- черный гипсовый бюст Ленина
- мраморный бюст женщины в чепце (вероятно, Крупской)
- карманные фонари, по большей части уже не работающие

- коробки с правительственными наградами
- фотографический портрет товарища Сталина, выполненный фотографом Андреем Петровым и по неосторожности залитый чернилами
- папки с почетными грамотами
- книги
- фаянсовые изваяния
- ... что-то еще, разумеется, но нет ни желания, ни сил вспоминать все это.

Пожилой человек возвращается к стулу, стоящему посреди комнаты, садится на него и смотрит в потухший экран телевизора, в котором он видит свое мутное, нерезкое отражение.

Рекомендуется далее: Александр Израилевич (Иванович по понятным причинам) Бродский, родился в 1903 году в Петербурге на углу Газа и Обводного канала. В 1924 году окончил географический факультет Ленинградского университета, а затем Институт красных журналистов. В апреле 1940 года был прикомандирован к Политическому управлению 8-ой армии, к армейской многотиражке «Ленинский путь» в качестве фотокорреспондента. Участвовал в боевых действиях с финнами. Приказом Военного Совета Ленинградского военного округа от 15 марта мне была вынесена благодарность как участнику войны за безопасность северо-западных границ СССР и города Ленина.

Моя жена – Мария Моисеевна Вольперт, 1905 года рождения.

Скончалась в прошлом году...

Из автобиографии Марии Вольперт:

«Я родилась в семье мещанина Вольперт Моисея Борисовича в г. Двинске (ныне Даугавпилс). Семья наша состояла из семи человек – отец, мать и 5 детей. Детство мое ничем не отличалось от детства миллионов других детей. Отец работал, мать растила ребятшек. Во время Первой империалистической войны семья наша вынуждена была бежать из Двинска от наступающих тогда немцев, и в качестве беженцев, проскитавшихся на Украине около года, мы переехали в Ленинград».

Александр Израилевич (Иванович) продолжает рекомендоваться: 25 мая 1940 года у нас родился сын, которого мы назвали Иосифом.

Войну я прошел фотокорреспондентом «Известий», ЛенТАСС, а также сотрудничал с газетами «Советская Балтика», «Моряк Балтики», «Северо-Западный водник».

Снимал блокадный Ленинград, а также участвовал в прорыве блокады в начале 1943 года.

В 1944 году от газеты «Известия» перевелся на Черноморский флот. Принимал участие в десанте на Малой земле. Войну закончил в Румынии.

В 1945 году был откомандирован на Дальний Восток, на войну с Японией.

В Ленинград вернулся в 1948 году в звании капитана 3-го ранга и был направлен на работу в Военно-морской музей, где заведовал фотолабораторией.

В 1950 году в ходе ждановских «чисток» офицерского корпуса от лиц еврейской национальности был демобилизован. После 1953 года работал фотографом и журналистом в ленинградских газетах и Балтийском морском пароходстве. Впоследствии возглавлял общественный факультет фотожурналистики при Ленинградском доме журналистов.

В 1957 году перенес инфаркт...

Наконец, Александр Иванович отрывает свой взгляд от подслеповатого экрана.

Наверное, сюжет о кончине Юрия Владимировича Андропова там уже закончился, и можно включить телевизор.

Так оно и есть – передают прогноз погоды:

– Завтра на Камчатке и на Сахалине –5, –10, возможна метель, штормовой ветер.

В Магаданской области –28, –33.

В Якутии –35, –40 градусов.

В Приморском крае и в Читинской области –2, –7...

Как в Ленинграде.

Впрочем, это и понятно – морской климат.

А что было потом?

А потом Александр Иванович ложился на огромную двуспальную кровать, купленную по дешевке Марией Моисеевной еще в 1935 году, подкладывал руки под голову и смотрел в потолок, украшенный гипсовой лепниной в мавританском стиле, испещренный трещинами и разводами от протечек.

Потолок напоминал карту.

Каждый вечер в это время (под прогноз погоды) по телевизору звучала мелодия «Manchester et Liverpool» (а ведь никто и не догадывался тогда, что эту песню исполняла французская певица и актриса Мари Лафоре), но сегодня этой мелодии, от которой всякий раз хотелось плакать, не было, потому что вся страна скорбела и могла слушать только классические сочинения Чайковского, Глинки, Бородина и Модеста Петровича Мусоргского.

Действительно, потолок напоминает карту мира, и откуда-то оттуда, из самой ее глубины, из сердцевины, из этих трещин, отвалившейся побелки и гипсовой лепнины, вчера позвонил Иосиф.

– Папа, представляешь, – голос сына звучал бодро, и это не могло не радовать отца, – вчера мне приснился первый стопроцентно нью-йоркский сон. Приснилось, что мне нужно отсюда, из Гринвич-Виллиджа, отправиться куда-то на 120-ю или 130-ю улицу. И для этого мне надо сесть в метро. А когда я подхожу к метро, то вдруг вижу, что весь этот Бродвей – то есть отсюда, скажем, Гарлема или даже дальше – поднимается и становится вертикально! То есть вся эта длинная улица внезапно превратилась в жуткий небоскреб. И поэтому метро перестает быть метро, а становится лифтом. И я поднимаюсь куда-то, ощущая при этом, что Бродвей становится на попа! Ты представляешь?

– Конечно, – отвечал Александр Иванович и даже пытался вообразить себе эту фантастическую картину здесь, в Ленинграде.

– Это было потрясающее зрелище, – звучал голос на другом конце провода. – И доехав таким образом до 120-й улицы, я выхожу из лифта на перекресток, как на лестничную площадку. Это был совершенно новый для меня масштаб сна, папа!

Нет, представить себе такое на Невском абсолютно невозможно, ведь тогда Адмиралтейство нависнет над Александрово-Невской лаврой, или, наоборот, Лавра нависнет над Адмиралтейством, и обрушение станет неизбежным, что приведет к многочисленным жертвам и хаосу.

Александр Иванович встает с кровати и проходит во вторую полу-комнату, где раньше он занимался проявкой и печатью фотографий.

К этому занятию своего мужа Мария Моисеевна всегда относилась со сдержанным пониманием, ведь порой фотографирование было единственным источником дохода семьи Бродских. Другое дело, что ей постоянно казалось, что Сашу обманывают и не доплачивают, или что он ее обманывает, а при таком повороте дел семейные ссоры были неизбежны.

Теперь ее нет.

Она умерла в 1983 году, посвятив последние одиннадцать лет своей жизни бесполезным попыткам встретиться со своим сыном.

Она писала письма, посещала ОБИРЫ, снова писала письма, кому-то звонила, с кем-то встречалась.

Конечно, она знала, что существует такое письмо:

«Дорогая мама!

Это письмо официально подтверждает, что я приглашаю приехать тебя ко мне в Соединенные Штаты следующей весной. Я хотел бы, чтобы ты приехала на месяц, то есть на четыре недели где-нибудь в марте. Я оплачу твои дорожные расходы, а также твои расходы во время твоего пребывания здесь, в Соединенных Штатах. Разумеется, ты будешь жить со мной в Анн-

Арборе, Мичиган, месте моего пребывания. Это письмо является частью официального приглашения, или вызова, требуемого ОВИРОм».

А еще она уже знала, что больна, но надежды не теряла и до последнего дня была уверена, что увидит своего Иосифа.

Из эссе Иосифа Александровича Бродского «Полторы комнаты»:

«Несмотря на девичью фамилию (сохраненную ею в браке), пятый пункт играл в ее случае меньшую роль, чем водится, из-за внешности. Она была определенно очень привлекательна северо-европейским, я бы сказал, прибалтийским обликом. В некотором смысле это было милостью судьбы: у нее не возникало проблем с устройством на работу. Зато она и работала всю сознательную жизнь. По-видимому, не сумев замаскировать свое мелкобуржуазное происхождение, она вынуждена была отказаться от всякой надежды на высшее образование и прослужить всю жизнь в различных конторах секретарем или бухгалтером. Война принесла перемены: она стала переводчиком в лагере для немецких военнопленных, получив звание младшего лейтенанта в войсках МВД. После капитуляции Германии ей было предложено повышение и карьера в системе этого министерства. Не сгорая от желания вступить в партию, она отказалась и вернулась к сметам и счетам. “Не хочу приветствовать мужа первой, – сказала она начальству, – и превращать гардероб в арсенал”. Мы звали ее Маруся, Маня, Манечка (уменьшительные имена, употреблявшиеся ее сестрами и моим отцом) и Мася или Киса – мои изобретения. С годами последние два получили большее хождение, и даже отец стал обращаться к ней таким образом. За исключением Кисы все они были ласкательными производными от ее имени Мария. Киса, эта нежная кличка кошки, вызывала довольно долго ее сопротивление. “Не смейте называть меня так! – восклицала она сердито. – И вообще перестаньте пользоваться вашими кошачьими словами. Иначе останетесь с кошачьими мозгами!” Подразумевалась моя детская склонность растягивать на кошачий манер определенные слова, чьи гласные располагали к такому с ними обращению... Имя Киса все-таки к ней пристало, в особенности когда она совсем состарилась. Круглая, завернутая в две коричневые шали, с бесконечно добрым, мягким лицом, она выглядела вполне плюшевой и как бы самодостаточной. Казалось, она вот-вот замурлычет. Вместо этого она говорила отцу: „Саша, заплатил ли ты в этом месяце за электричество» Или, ни к кому не обращаясь: “На следующей неделе наша очередь убирать квартиру”. И это значило мытье и натирку полов в коридорах и на кухне, а также уборку в ванной и в сортире. Ни к кому не обращалась она потому, что знала: именно ей придется это проделать».

Нет, Александр Иванович уже давно не фотографировал, не проявлял пленку и не печатал фотографии.

Вполне возможно, что и заблуждался на сей счет, но твердо находил это занятие избыточным и в высшей степени бессмысленным в его годы. Все уже давно снято, право, зачем смешить людей и бегать перед ними с фотографическим аппаратом, пусть этим занимаются молодые, которым он передал свой богатый опыт. Без остатка!

Каждый следующий день Бродского-старшего был похож на предыдущий, и в этом он видел смысл своего нынешнего существования – соблюдение режима, то, чему его всю жизнь учили на службе, то, чему он потом учил других.

Сына, в первую очередь...

Сейчас он садится в кресло рядом с письменным столом, на котором теперь вместо печатной машинки Иосифа стоит ламповый электрофон «Юность».

Здесь же стопка пластинок: «Черноморская песня», «Лунный вечер», «Иоланта», «Чико-Чико но Фуба», «Песни советских композиторов», «Евгений Онегин», «Рождественская оратория» Баха.

Когда они жили вместе, почему-то именно Бах вызывал особенное его раздражение. Может быть, потому что ритм той жизни был совершенно другим, а «Рождественская оратория» настойчиво требовала остановиться, перевести дыхание, успокоиться, увидеть то, что

было скрыто от взгляда пожелтевшими от времени пачками газеты «Правда» и «Красная звезда». Это, разумеется, возмущало, воспринималось как неуместный дидактизм и заканчивалось скандалом, потому что Иосиф наотрез отказывался выключать эту невыносимую музыку.

Конечно, иногда приходилось прибегать и к услугам ремня. Особенно когда сын остался на второй год, получив двойки по точным наукам и английскому.

Отец понимал, что Иосиф сделал это специально, но не понимал, зачем он это сделал специально.

Как, например, не понимал, зачем его сын написал это:

*Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.*

*Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражских тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.*

Теперь, когда они уже давно не виделись, и надежда на то, что им вообще суждено увидеться, таяла с каждым днем, Александр Иванович приходил к такому убеждению: в том, что он не мог понять своего сына, не было ничего страшного, непереносимого и преступного. Это было естественно, потому как хоть они и были родными людьми, они были разными людьми.

Конечно, жаль, что он понял это так поздно.

И вот теперь отец включает электрофон «Юность» и ставит на него «Рождественскую ораторию».

Из интервью Иосифа Бродского:

«В принципе я думаю, что... просто я был частью его, по сути я – это он. Отец был человеком принципа “или – или”, как, впрочем, и все их поколение. Мы же себя очень уважаем за то, что мы люди нюансов. Нам кажется, что мы больше понимаем, больше знаем, что мы лучше чувствуем и т. д. В то время как, если уж говорить совершенно серьезно, то вот эти их “или – или” включали в себя всю ту амплитуду, которую мы артикулируем очень подробно и детально, но это и приводит нас к такому, как бы сказать, состоянию полной импотенции по отношению к действительности. А те люди при всем том, могли совершать какие-то выборы. Отец, например, не был ни членом партии, всего этого “добра” он не терпел, просто не выносил. И еще он был человеком весьма ироничным, во всяком случае, он был ироничен по отношению к государству, к власти, к родственникам, особенно к тем, которые более или менее преуспели в системе. Он все время над ними посмеивался, всегда норовил вступить в спор, и я вижу то же самое сейчас в себе, то есть эту тенденцию к возражению. Думаю, что это у меня в значительной степени от него, так сказать генетический момент, кровный. Я действительно думаю, что “он” – это я. Ведь пока они живы, мы думаем, что мы – другие, что мы – это что-то самостоятельное, а мы на самом деле – часть той же самой ткани».

Музыка звучит ровно, накатывает волнами, и Александр Иванович засыпает, сидя в кресле.

Ему снится сон, будто он в сумерках переходит Дворцовый мост.

Проезжая часть пуста, и поэтому можно безбоязненно идти к колоннаде Военно-морского музея мимо мигающих светофоров. Совершенно непонятное время года – то ли ранняя весна, то ли солнечная теплая осень, из тех дней, которые в Ленинграде можно пересчитать по пальцам одной руки.

Он поднимается по лестнице и видит Иосифа с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку. Сын открывает отцу огромную двустворчатую дверь, и они входят в здание музея. Однако, оказавшись тут, он не обнаруживает хорошо знакомых ему экспонатов. На самом же деле Иосиф вводит отца в Парфенон, где из-за колоннады появляется хор, который движется слева направо и исполняет строфу из Пролога к «Антигоне»:

*Никто никогда не знает, откуда приходит горе.
Но потому что нас окружает море,
на горизонте горе заметней, чем голос в хоре.*

*Оно приходит в Элладу чаще всего с Востока.
Волны податливы, и поступь его жестока.
Оно находит дорогу, ибо оно стоико.*

*Но будь оно даже слепо, будь освещение скудно,
горю дорогу в море к нам отыскать нетрудно,
ибо там наследило веслами наше судно.*

– Ты же знаешь, как я люблю в музее ту часть экспозиции, которая посвящена парусному флоту, – обращаясь к сыну, говорит Александр Иванович.

– Конечно, папа, знаю, – отвечает с улыбкой Иосиф и тут же начинает перечислять: – Модель английского 50-пушечного фрегата «Седжмур», модель 20-пушечного шлюпа «Солебей», модель яхты «Дружба» 1826 года, модель 25-баночной галеры «Двина», модель гробного фрегата «Евангелист Марк», модель Сиракузской трехмачтовой пентеры...

А потом отец и сын возвращаются домой. По пути они заходят в магазины, покупают продукты, а также фотопринадлежности – пленку, реактивы, фотобумагу.

Наконец, Иосиф и Александр Иванович останавливаются перед Домом книги на Невском.

Переглядываются.

– Зайдем?

– Зайдем...

И вот Иосиф в мундире капитана 3-го ранга с сине-бело-синей повязкой дежурного офицера на левой руке и пистолетом в кобуре на правом боку поднимается по парадной лестнице магазина на второй этаж, туда, где продаются книги по искусству. Он выбирает альбом фотографий Миши Барышникова и вручает его отцу.

Александр Ивановичу снится, как он смотрит фотографии Барышникова, на которых изображен его сын. Ему нравится работа фотографа, ведь он сам фотограф и прекрасно чувствует руку мастера, но при этом он решительно не понимает, почему на этих карточках его сын такой старый и лысый.

Он резко оборачивается к Иосифу:

– Скажи честно, ты продолжаешь смолить как паровоз?

– Да, отец, – звучит в ответ, – продолжаю.

– Это очень плохо, врачи запретили тебе курить, – лицо отца мрачнеет.

– Да, я знаю, но...

– Нет, Иосиф, дело даже не в том, что ты огорчил меня, и не в том, что ты не выполняешь предписания врачей, а в том, что ты сейчас очень огорчил нашу маму...

Александр Иванович открывает глаза.

Игла уже давно зависла над остановившейся пластинкой «Рождественская оратория» И.-С. Баха.

А ведь этот электрофон, кажется, был приобретен вместо радиоприемника «Филипс», чей удел оказался незавиден...

Из эссе Иосифа Бродского «Трофейное»:

«Когда мне было двенадцать лет, отец, к моему восторгу, неожиданно извлек на свет божий коротковолновый приемник. Приемник назывался “филиппс” и мог принимать радиостанции всего мира – от Копенгагена до Сурабаи. Во всяком случае, на эту мысль наводили названия городов на его желтой шкале. По меркам того времени “филиппс” этот был вполне портативным – уютная коричневая вещь 25x35 см, с вышеупомянутой желтой шкалой и с похожим на кошачий, абсолютно завораживающим зеленым глазом индикатора настройки. Было в нем, если я правильно помню, всего шесть ламп, а в качестве антенны хватало полуметра простой проволоки. Но тут и была закавыка. Для постового торчащая из окна антенна означала бы только одно. Для подсоединения приемника к общей антенне на здании нужна была помощь специалиста, а такой специалист, в свою очередь, проявил бы никому не нужный интерес к вашему приемнику. Держать дома иностранные приемники не полагалось – и точка. Выход был в паутинообразном сооружении под потолком, и так я и поступил.

Конечно, с такой антенной я не мог поймать Братиславу или тем более Дели. С другой стороны, я все равно не знал ни чешского, ни хинди. Программы же Би-би-си, “Голоса Америки” и радио “Свобода” на русском языке все равно глушились. Однако можно было ловить передачи на английском, немецком, польском, венгерском, французском, шведском. Ни одного из них я не знал. Но зато по “Голосу Америки” можно было слушать программу “Time for Jazz”, которую вел самым роскошным в мире бас-баритоном Уиллис Коновер.

Этому коричневому, лоснящемуся, как старый ботинок, “филиппсу” я обязан своими первыми познаниями в английском и знакомством с пантеоном джаза. К двенадцати годам немецкие названия в наших разговорах начали исчезать с наших уст, постепенно сменяясь именами Луиса Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Клиффорда Брауна, Сиднея Беше, Джанго Райнхардта и Чарли Паркера. Стала меняться, я помню, даже наша походка: суставы наших крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Видимо, не один я среди моих сверстников сумел найти полезное применение метру простой проволоки. Через шесть симметричных отверстий в задней стенке приемника, в тусклом свете мерцающих радиоламп, в лабиринте контактов, сопротивлений и катодов, столь же непонятных, как и языки, которые они порождали, я, казалось, различал Европу. Внутренности приемника всегда напоминали ночной город, с раскиданными там и сям неоновыми огнями. И когда в тридцать два года я действительно приземлился в Вене, я сразу же ощутил, что в известной степени я с ней знаком. Скажу только, что, засыпая в свои первые венские ночи, я явственно чувствовал, что меня выключает некая невидимая рука где-то в России.

Это был прочный аппарат. Когда однажды, в пароксизме гнева, вызванного моими бесконечными странствиями по радиоволнам, отец швырнул его на пол, пластмассовый ящик раскололся, но приемник продолжал работать. Не решаясь отнести его в радиомастерскую, я попытался, как мог, починить эту похожую на линию Одер – Нейсе трещину с помощью клея и резиновых тесемок. С этого момента, однако, он существовал в виде двух почти независимых друг от друга хрупких половинок. Конец ему пришел, когда стали сдавать лампы. Раз или два мне удалось отыскать, через друзей и знакомых, какие-то аналоги, но даже когда он окончательно онемел, он оставался в семье – куда семья существовала».

В 1972 году Иосиф уехал из страны.

В 1983 году умерла Маруся.

Семьи больше нет.

29 апреля 1984 года, сидя на стуле посреди комнаты перед телевизором, от сердечного приступа в возрасте 81 года скончается Александр Израилевич Бродский.

Таким его и обнаружит сосед по коммуналке.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками. Чего, однако, не произошло. И был город. Самый красивый город на свете. С огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо – над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно-прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией. Которая перестала существовать. Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу. Широкая река лежала перед ним, белая и застывшая, как язык континента, скованный немотой, и большой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как железное небо. Если у мальчика были две минуты в запасе, он скатывался на лед и проходил двадцать-тридцать шагов к середине. Все это время он думал о том, что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал сломя голову до самых дверей школы. Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по лестнице в свой класс. Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом Вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею».

Хор неподвижно стоит на ступенях Военно-морского музея (он же Биржа, он же Парфенон) и поет на французском языке (в древнегреческой драме это неподвижное исполнение называется *стасим*):

Manchester et Liverpool
Je me revois flânant le long des rues
Au milieu de cette foule
Parmi ces milliers d'inconnus
Manchester et Liverpool
Je m'en allais dans tous les coins perdus
En cherchant ce bel amour
Que près de toi j'avais connu

Je t'aime, je t'aime
Que j'aime ta voix
Qui me disait:
«Je t'aime, je t'aime»
Et moi j'y croyais tant et plus...

Антифоном звучит голос диктора Центрального телевидения Веры Шебеко:

– По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра в Нечерноземье ожидается 5–7 градусов тепла, в среднем Поволжье плюс 7 – 10, дожди, в Мурманской области и Карелии плюс 6–8, в Ленинграде такая же температура, кратковременный дождь, возможна гроза.

Эпизодий Второй

5 марта 1953 года Иосиф проснулся, как всегда, по звонку будильника.

С трудом выбрался из-под одеяла.

Выглянул в окно – темно, тускло горят уличные фонари.

Долго стоял перед рукомойником.

Ковырял пальцем зубной порошок «Экстра». Думал о том, что он похож на пудру, которой пользовалась мать. Зачем-то вымазал им щеки.

В комнате на столе его уже ждал завтрак – яйцо и чай.

Жевал безо всякого удовольствия, давился кипятком.

По радио передавали новости, а потом пел дважды краснознаменный хор имени Александра.

Со словами «иди уже, а то опоздаешь», мать провожала сына по коридору.

Иосиф выходил на лестничную площадку, дверь захлопывалась за ним, чем тут же и обрезала звуки хорового пения.

Брел мимо Спасо-Преображенского собора.

Здесь, в подвале, по рассказам матери, они прятались во время бомбежки, а его, годовалого, укладывали в свечной ящик, где он спал.

Переходил Литейный в сторону Фонтанки.

На улице почти никого не было.

Сворачивал в Соляной переулочек и наткнулся взглядом на светящееся в утренней мартовской мгле здание школы, напоминавшее пассажирский четырехпалубный лайнер.

Отец рассказывал сыну, что после войны многие пассажирские пароходы СССР получил по репарации от Германии. Например, самый крупный советский паротурбоход «Советский Союз» был построен в Гамбурге и назывался «Albert Ballin».

Иосиф останавливался на какое-то время, раздумывая, идти ли ему на первый урок. При этом он отчетливо представлял себе красное венозное лицо исторички, секретаря парторганизации школы Лидии Васильевны Лисицыной, которая, поймав на несделанном домашнем задании, начинала истошно орать: «Вон из класса, слабоумный!», а орден Ленина, приколотый у нее на пиджаке (как говорили, самим Ждановым), начинал трястись, будто бы от страха. И это было невыносимо смешно, ведь в школе учили, что Ленин ничего не боится.

Поморщился.

Представил себе, что пассажирский четырехпалубный лайнер издал протяжный гудок как при отплытии и начал выполнять маневр разворота.

Иосиф развернулся и быстро пошел к Фонтанке.

Здесь спустился на лед, под которым плавали невидимые рыбы.

Рыбы зимой живут.

Рыбы жуют кислород.

Рыбы зимой плывут,

Задевая глазами лед.

Туда.

где глубже.

Где море.

Рыбы.

рыбы.

рыбы.

Рыбы плывут зимою.

*Рыбы хотят выплыть.
Рыбы плывут без света.
Под солнцем
зимним и зыбким.
Рыбы плывут от смерти
Вечным путем
рыбьим.
Рыбы не льют слезы;
Упираясь головой
в глыбы,
В холодной воде
Мерзнут
Холодные глаза
Рыбы.
Рыбы
всегда молчаливы...*

Если бы родители узнали, что он вышел на лед, отец, наверное, убил бы его. Но так как тут нет ни души, то никто об этом и не узнает. Только невидимые рыбы, но они, слава Богу, не умеют говорить, они *молчаливы*. Время пролетело незаметно, и надо возвращаться в школу, ко второму уроку. Иосиф уже придумал, что ответить на обвинения в прогуле занятий – сломался будильник, а родители рано ушли на работу.

Однако уже в вестибюле он почувствовал что-то неладное. Особенно это стало очевидным, когда в коридоре Иосиф наткнулся на Лисицыну. Приготовился объясняться, выслушивать ругань в свой адрес, но она вместо того, чтобы орать за опоздание, сдавленно бросила ему: «Бродский, немедленно поднимайся в актовый зал».

В глазах у нее стоят слезы.

А ведь никогда и не думал, что она умеет плакать!

Актовый зал был набит битком.

Такого Иосиф еще никогда не видел.

Что-то немыслимо гнетущее, замогильное висело в воздухе.

Терпко пахло навощенным паркетом, табаком и потом.

Лисицына медленно поднялась на сцену и страшным гробовым голосом выдавила из себя:

– На колени!

По залу разнесся гул недоумения.

Это мать рассказывала, что в Спасо-Преображенском соборе люди иногда встают на колени, когда молятся, а раньше ставили на горюх в качестве наказания.

Гул недоумения накатывает, но тут же и затихает, словно натывается на невидимую стену.

– Я сказала – на колени! – срывается на пронзительный бабский визг историчка, лицо ее перекашивает судорога, уже при одном виде которой все как подкошенные валяются на пол – ученики, учителя, уборщицы, безногий сторож-инвалид дядя Миша, у которого этих коленей и нет, а есть протезы.

– Плачьте, дети, плачьте! Сталин умер!

И все начинают плакать под «Marche funebre» Шопена, который уже включил школьный радист Галимзянов.

Из эссе Иосифа Бродского «Размышления об исчадии ада»:

«И люди заплакали. Но они плакали, я думаю, не потому, что хотели угодить “Правде”, а потому, что со Сталиным была связана (или, лучше сказать, он связал себя с нею) целая эпоха. Пятилетки, конституция, победа на войне, послевоенное строительство, идея порядка – сколь бы кошмарным он ни был. Россия жила под Сталиным без малого 30 лет, почти в каждой комнате висел его портрет, он стал категорией сознания, частью быта, мы привыкли к его усам, к профилю, который считался “орлиным”, к полувоенному френчу (ни мир, ни война), к патриархальной трубке, – как привыкают к портрету предка или к электрической лампочке. Византийская идея, что вся власть – от Бога, в нашем антирелигиозном государстве трансформировалась в идею взаимосвязи власти и природы, в чувство ее неизбежности, как четырех времен года. Люди выросли, женились, разводились, рожали, старились, умирали, – и все время у них над головой висел портрет Сталина. Было от чего заплакать. Вставал вопрос, как жить без Сталина. Ответа на него никто не знал».

Когда Иосиф вернулся домой, то обнаружил, что в коммунальной квартире, где он жил с родителями, все тоже рыдают.

Плакала и мать.

Было что-то сюрреалистическое в этом безутешном плаче, в этом настоящем вое с заламыванием рук, с возгласами «увы мне!», в этом массовом психозе, который так напоминал хор из Пролога трагедии Еврипида «Медея»:

*Снова слышен тот стон, безутешный плач.
Не удержать боль, хоть за стену прячь.
То с остывшего ложа, где бред горяч,
илет проклятия мужу Колхиды дочь
и к Фемиде взывает, увлекшей дочь
ее из дому, чтоб, говорят, помочь
мореходам вернуться, спустя года,
к тем, кто ждал их там, как ее – беда,
к берегам Эллады родной – туда,
где пучина гонит свой вал крутой,
и предела нет у пучины той.*

Только отец лежал на кровати и с невозмутимым видом перелистывал «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Альбертовича Куна. Отец увлекался древностью, находя ее возвышенной, благородной, почти идеальной и достойной всяческого подражания.

Заметив сына, он подмигнул ему и загадочно улыбнулся.

Нет, Александр Иванович никогда не потакал своему сыну, видел в нем разгильдяя и бездельника, был с ним строг и требователен, опять же, не чурался и телесных наказаний, а в гневе бывал страшен, но при этом между ними существовала какая-то таинственная, недоступная для понимания чужих связь, взаимопонимание, которое никогда не выпячивалось, дружба, которая как будто бы и скрывалась от постороннего докучливого взора.

Так, однажды, когда вопрос об отчислении Иосифа из школы был практически решен, Бродского-старшего вызвали на педсовет, чтобы поставить его в известность и высказать ему все о его непутевом сыне. Выслушав неистовых критиков, Александр Иванович встал и неожиданно для всех принялся горячо защищать своего мальчика. Потрясение педагогов было столь велико, что они так и не смогли ничего возразить капитану 3-го ранга. Иосиф был оставлен в школе.

С 1947 по 1955 год он поменял пять школ.

Спустя годы Иосиф Бродский скажет: «Я бросил школу в возрасте пятнадцати лет. Это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Сделать это было

трудно из-за родителей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. И вот однажды без всякой видимой причины я встал среди урока и мелодраматически удалился. Это был инстинктивный поступок...»

Тогда удалился на Обводный по Нарвскому проспекту и пошел в сторону Балтийского вокзала.

При этом то и дело подходил к парапету, перевешивался через него и смотрел на воду.

*Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.*

Шел вдоль Обводного канала и снова думал про рыб, которые плывут в глубине и сейчас, вероятно, смотрят на него.

Вот они как-то пережили блокаду, войну, зиму и теперь перемещаются в поисках корма, изредка поднимая глаза вверх (исключительно любопытства ради). Старо-Петергофский, Розенштейна, Шкапина давали о себе знать пронзительными сквозняками, что вырывались из уличных проемов, более напоминавших ущелья, в которых жили первобытные люди.

Из эссе Иосифа Бродского «Меньше единицы»:

«Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный – и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое, жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон... За этими величественными выщербленными фасадами – среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гибли первыми) – слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция. Рим, Египет – все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пытящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон».

На Балтийском вокзале зашел в буфет.

Путевые обходчики здесь пили пиво, громко разговаривали, смеялись. Продавщица улыбнулась и налила семикласснику-второгоднику газировку с сиропом. Иосиф посмотрел на нее и тут же вспомнил свою мать в переднике, ее раскрасневшееся лицо, чуть запотевшие очки, ее коротко стриженные, крашенные хной седые волосы и блестящую от пота верхнюю губу, когда она на кухне отгоняет его от плиты: «Отойди! Что за нетерпение!» А потом она приносила угощения в комнату, где они с отцом уже сидели за столом и держали в руках вилки с маркировкой «нерж».

В буфете было накурено, пахло углем и креозотом.

После первой блокадной зимы, 21 апреля 1942 года, Марии Моисеевне Вольперт вместе с сыном Иосифом и родителями (бабушкой и дедушкой Иосифа) удалось выехать из Ленинграда в эвакуацию в город Череповец Вологодской области.

Сначала они поселились в деревянном бараке на улице Ленина, а затем перебрались в дом Басалаевых в Новом переулке, что находился на окраине города близ Северного шоссе.

Жизнь в бараке Иосиф Бродский впоследствии описал следующим образом: «Я помню спуск в нашу полуподвальную квартирку... три или четыре белых ступеньки ведут из прихожей на кухню. Я еще не успеваю спуститься, как бабушка подает мне только что испеченную булочку – птичку с изюминкой в глазу. У нее немного подгоревшие крылышки, но там, где должны быть перышки, тесто светлее. Справа стол, на котором катается тесто, слева печка. Между ними и лежит путь в комнатку, где мы все жили: дедушка, бабушка, мама и я. Моя кровать стояла у той же стены, что и печь в кухне. Напротив – мамина кровать и над ней окошко, выходящее, как и в кухне, на улицу».

Вот из этого окошка и был виден город, стоящий при впадении реки Ягорбы в реку Шексну близ Рыбинского водохранилища.

Во время войны в Череповце находился штаб 286-ой стрелковой дивизии, части Вологодско-Череповецкого округа ПВО, завод по ремонту авиационных двигателей на территории бывшего Воскресенского монастыря, механический завод «Красная звезда», а также лагерь ОГПУ НКВД № 158 для военнопленных и освобожденных из немецкого плена военнослужащих Красной армии, куда в должности секретаря-переводчика устроилась работать Мария Моисеевна.

В своих знаменитых «Диалогах с Бродским» Соломон Волков приводит следующие воспоминания поэта о том времени: «Несколько раз она брала меня с собой в лагерь. Мы сидели с мамой в переполненную лодку, и какой-то старик в плаще греб. Вода была вровень с бортами, народу было очень много. Помню, в первый раз я даже спросил: “Мама, а скоро мы будем тонуть?”».

Переплывали Шексну как Стикс.

Старик, чье лицо было не разглядеть, кутался в плащ и напоминал Харона.

А на причале уже стоял хор военнопленных и заключенных военнослужащих РККА и как в античной трагедии пел попеременно.

Первое полухорие:

*Как тюремный засов
разрешается звоном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
так в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по версте, по версте
отступает любовь от безумия.*

Второе полухорие:

*Через гордый язык,
хоронясь от законности с тщанием,
от сердечных музык
пробираются память с молчанием
в мой последний пенат
– то ль слезинка, то ль веточка вербная, —*

*и тебе не понять,
да и мне не расслышать, наверное,
то ли вправду звенит тишина,
как на Стиксе уключина.
То ли песня навзрыд сложена
и посмертно заучена.*

Эпическое, торжественное зрелище на фоне низкого свинцового неба.

Вся жизнь в Череповце военной поры вращалась вокруг железнодорожного вокзала, через который транзитом с северо-запада на Котлас и Воркуту шли эвакопоезда, а с востока на запад – военные эшелоны. К 1941 году после затопления Рыбинского водохранилища часть города ушла под воду, в результате чего старые постройки почти не сохранились. Под нужды фронта Череповец отстраивался, по сути уже находясь на военном положении. Вагоноремонтные мастерские, отстойники паровозов, одноколейки, протянутые к лагпунктам и судоремонтному заводу, лесопилки, мастерские, склады, постоянный запах угля, солярки и креозота, надписи на деревянных лабазах, домах и заборах, сделанные белой краской: «кипяток», «сборный пункт», «госпиталь», «бомбоубежище», «запретная зона», «штаб», «вход воспрещен», «стой, стреляют», нескончаемый поток эвакуированных, раненых, заключенных. Для маленького человека, который уже научился читать, – это был истинный Вавилон.

Из «Послесловия к “Котловану”» А. Платонова» Иосифа Бродского:

«Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай – тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда, только в Хронос – в связи с чем и вводится понятие вечной жизни. То же относится и к Аду. Бытие в тупике ничем не ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии – желаемой или уже обретенной – прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности».

Вот Мария Моисеевна везет на саночках маленького Иосифа мимо бывшего Воскресенского собора, где сейчас работает фабрика по ремонту авиационных двигателей. Вечернее небо подсвечивают прожектора части ПВО, что расположена на восточном выезде из Череповца на Вологду.

Все это скорее напоминает некое масштабное и непостижимое действие, частью которого стали обитатели Череповца, а также попавшие сюда эвакуированные, раненные и заключенные.

«Язык не поспевает за мыслью», и потому время обретает черты абсолютно условные, ничто отныне не является абсолютом, и особенно это становится очевидно во время войны, когда жизнь может оборваться сейчас, завтра, послезавтра, или, напротив, не закончиться никогда, превратившись в бессмертие в виде мемориальных досок на стенах домов, памятников, аляповатых портретов и торжественных митингов, перегруженных бессмысленными речами. Почему бессмысленными? Да потому что «язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении»! О каком тут смысле можно вообще говорить!

И вот когда почва окончательно уходит из-под ног, начинается миф – например, миф о дружной жизни в коммунальных квартирах, миф о тайном (разумеется, в те-то годы) богоискательстве, миф о довольстве и в то же время о непроходящем ужасе ожидания ареста и расстрела, наконец, миф о добром Сталине или, напротив, о кровожадном Сталине.

Из разговора Иосифа Бродского с Соломоном Волковым:

«Никаких особенных чувств к Сталину я не испытывал точно. Скорее он мне порядком надоел. Честное слово! Ну везде его портреты! Причем в форме генералиссимуса – красные лампасы и прочее. И хотя обожаю военную форму, но в случае со Сталиным мне все время казалось, что тут кроется какая-то лажа. Эта фуражка с кокардой и капустой, и прочие дела – все это со Сталиным как-то не вязалось, казалось не очень убедительным. И потом эти усы! И между прочим, в скобках, – знаете, на кого Сталин производил сильное впечатление? На гомосексуалистов! Это ужасно интересно. В этих усах было что-то такое южное, кавказско-средиземноморское. Такой папа с усами!... здесь начинается чистый Фрейд. Я думаю, что значительный процент поддержки Сталина интеллигенцией на Западе был связан с ее латентным гомосексуализмом. Я полагаю, что многие на Западе обратились в коммунистическую веру именно по этой причине. То есть они Сталина просто обожали!»

Ад и Рай, а между ними Хронос.

Лагерь ОГПУ НКВД № 158 и Череповец I, а между ними Шексна.

И еще, конечно, пронзительные паровозные гудки в любое время дня и ночи, к которым, впрочем, быстро привыкли.

В 1944 году вернулись из эвакуации в Ленинград.

Иосиф Бродский: «Тогда же все рвались назад, теплушки были битком набиты, хоть в Ленинград пускали по пропускам. Люди ехали на крыше, на сцепке, на всяких выступках. Я очень хорошо помню: белые облака на голубом небе над красной теплушкой, увешанной народом и выцветших желтоватых ватниках, бабы в платках. Вагон движется, а за ним, хромя, бежит старик. На бегу он сдергивает треух и видно, какой он лысый; он тянет руки к вагону, уже цепляется за что-то, но тут какая-то баба, перегнувшись через перекладину, схватила чайник и поливает ему лысину кипятком. Я вижу пар».

Детская память сохранила именно эту картину – пар, поднимающийся с лысины хромого старика и переливающийся в лучах солнца, вагон гремит на стыках, из открытого рта бабы вылетают слова, разобрать которые невозможно, мимо проплывают постройки вокзала.

Все это складывается в какую-то немислимую какофонию, которая со временем (когда поезд набирает ход, а старик с дымящейся головой окончательно отстает) превращается в музыку.

Спустя годы на которую Иосиф напишет такие слова:

*Ария птиц
Мы, певцы, и мы, певицы,
именуемые «птицы»,
вместе с песнями смогли
оторваться от земли.
Но при этом с каждой роцей
мы язык находим общий,
и идёт зимой и летом
в небе опера с балетом...
Ария рыб
Слышат реки и озёра
песню, скрытую от взора.
Над глубокими местами
дирижируем хвостами.
Мы хористы и солисты.
Наши песни серебристы.
Но ни слова нет, ни слова
не дойдёт до рыболова...*

*Ария деревьев
Мы, деревья, сами – звуки.
Меж собой всегда в разлуке,
разбредаемся по роцам,
умоляем, шепчем, ропщем.
Разбредаемся лесами.
Всё-то делаем мы сами:
и кручинимся, и блещем,
и поём, и рукоплещем...*

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда.

Конечно, те, кто остались в живых, знали этот город другим, но для 4-летнего Иосифа Ленинград всегда был именно таким – состоящим из развалин, прикрытых фанерными щитами с нарисованными на них фасадами домов, с огородами в городских скверах, а также среди величественных руин дворцов классической архитектуры, с заросшими травой историческими площадями и забранными сколоченными из горбыля футлярами статуями в Александровском саду.

Все это напоминало античные руины в стиле Гюбера Робера, чьи полотна хранились в Эрмитаже: благородная древность и посеченные осколками колоннады, неумолимое время и развороченные во время бомбежек портики, одухотворенное одиночество и пустые перспективы Васильевского острова, осознание собственного ничтожества перед лицом анфилад пустых комнат, уходящих за горизонт.

В своем эссе «Путеводитель по переименованному городу» Иосиф Бродский писал: «Для смягченной мифологии Петербург слишком молод, и всякий раз, когда случается стихийное или заранее обдуманное действие, можно заприметить в толпе словно бы изголодавшееся, лишенное возраста лицо с глубоко сидящими побелевшими глазами и услышать шепот: “Говорят же вам, это место проклято!” Вы вздрогнете, но мгновение спустя, когда вы попытаетесь еще раз взглянуть на говорившего, его уже и след простыл. Тщетно вы будете вглядываться в медленно толочущую толпу, в мимо ползущий транспорт; вы не увидите ничего – лишь безразличные пешеходы и, сквозь наклонную сетку дождя, величественные очертания прекрасных имперских зданий. Геометрия архитектурных перспектив в этом городе превосходно приспособлена для потерь навсегда».

Пережив блокаду, город постарел на несколько веков, а взгляд его, и без того изрядно безумный, как-то еще более помутнел, словно удостоился видения чего-то потустороннего. Таким взглядом обладает человек, переживший клиническую смерть.

По воспоминаниям Иосифа Бродского, вернувшись из эвакуации, они с матерью обнаружили их комнату в коммуналке на Рылеева опечатанной (у отца была комната на углу Газа и Обводного канала). После известного рода процедур Марии Моисеевне Вольперт комнату все же вернули, и лишь в 1955 году две «однушки» удалось поменять на полторы комнаты в доме Мурузи на Пестеля.

После того как в 1948 году Александр Иванович вернулся в Ленинград с Дальнего Востока, они вместе с сыном часто ходили в Соляной городок на Фонтанку, где находился Музей обороны города, и там бродили до позднего вечера.

Из книги Льва Лосева «Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии»: «В нескольких минутах ходьбы от дома Бродских, в Соляном городке, находился Музей обороны Ленинграда, где были выставлены образцы советской и немецкой военной техники вплоть до тяжелой артиллерии, танков и самолетов. Решающие битвы изображались на диорамах с манекенами атакующих и павших солдат на переднем плане в натуральную величину... Отец по возвращении из Китая два года заведовал фотолабораторией в Военно-морском музее. Девяти-десяти-

летний Иосиф пользовался привилегией бродить по музею после закрытия: “Едва ли что-либо мне нравилось в жизни больше, чем те гладко выбритые адмиралы в анфас и в профиль – в золоченых рамах, которые неясно вырисовывались сквозь лес мачт на моделях судов, стремящихся к натуральной величине”. Живое ощущение только что закончившейся войны и победы сливалось с имперскими мифами так же, как на улицах города следы недавней войны были неотделимы от обильной в Петербурге ампирной символики. Из окна своей комнаты мальчик видел ограду Спасо-Преображенского собора, сделанную из трофейных пушек, а на другом конце улицы Пестеля (Пантелеймоновской) стояла Пантелеймоновская церковь, построенная в честь победы русского флота при Гангуте. Мечи, копья, дротики, секиры, щиты, шлемы, дикторские фасции с топориками украшали Пантелеймоновский мост через Фонтанку, как и многие другие ограды и фасады бывшей столицы империи. Неоклассицистический архитектурный декор способствовал не только воспитанию патриотического чувства. «Надо сказать, что из этих фасадов и портиков – классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей – из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.